

«Нам нужно восстанавливать память»

*(К 80-летию Бориса Хазанова)*

1

В 1976 году в шестом номере эмигрантского журнала «Время и мы» появилась повесть никому до сих пор не известного писателя Бориса Хазанова «Час короля». Автор все еще жил в России, поэтому скрывался под псевдонимом. В редакционном предуведомлении говорилось: «Чудеса случаются редко, но все же случаются. Потом они входят во все хрестоматии... Появление прозы Бориса Хазанова кажется нам одним из таких чудес».

История разворачивается во время Второй мировой войны в маленькой европейской стране, оккупированной фашистами. Всем живущим здесь евреям приказано было нашить на свою одежду желтые звезды. И первым это сделал король неназванной страны Седрик Десятый, человек пожилой, пунктуальный, не привыкший отступать от заведенного распорядка – автор пишет о нем с восхищенным юмором. Вместе с королевой он, как всегда, без охраны, вышел на свою обычную прогулку, и жители столицы увидели на груди обоих звезды Давида. Прогулка еще не закончилась, когда едва ли не все население города высыпало на улицы с такими же звездами. «Какие-то люди выходили из подъездов с желтыми лоскутками, наспех приколотыми к пиджакам, дети выбегали из подворотен с уродливыми подобиями звезд, вырезанных из картона, некоторые нацепили раскрашенные куски газеты... Полисмен отдал честь королю, на его темно-синем мундире выделялась канареечная звезда».

Этой сценой роман заканчивается, что стало с королем, можно предположить. В написанном позже эссе «Идущий по воде» Борис Хазанов называет по видимости абсурдный поступок короля «Деянием с большой буквы», тем самым «мгновением истины», когда человек «раздвигает сетку узаконенных координат, словно прутья решетки», отстаивая ценность таких, казалось бы, растоптанных понятий, как честь, достоинство, человечность.

Вымышленная страна чем-то похожа на Данию – подобная легендарная история рассказывалась про ее короля и жителей Копенгагена. Достоверность, с какой описаны были улицы города, дворцовый быт, мельчайшие житейские подробности, позволяла читателю думать, что рассказчик все это видел – между тем автор повести нигде в Европе тогда еще не побывал. Особенной же достоверностью отмечен эпизод, где король Седрик – кроме всего, еще и крупнейший в Европе уролог –

осматривает фюрера оккупантов, (по имени прямо не названного), и констатирует у него безнадежную импотенцию.

Медицину автор знал не понаслышке – он сам по образованию был врач. Точней, по одной из специальностей. Родившийся в 1928 году Геннадий Моисеевич Файбусович (скрываться от компетентных органов под псевдонимом ему удалось недолго) изучал классическую филологию в Московском университете, когда его, студента последнего курса, в 1949 году арестовали и осудили на восемь лет лагерей строгого режима. Освободившись в 1955 году, он сумел поступить в Калинин (нынешней Твери) в медицинский институт и несколько лет работал врачом в сельских больницах, потом перебрался в Москву, защитил диссертацию, продолжал работать врачом.

Все это достаточно известная канва его биографии. По-настоящему кое-что начинаешь понимать, лишь внимательней вникнув в подробности. Помню, как удивлялся покойный ныне кёльнский славист профессор Вольфганг Казак, с которым Файбусович был дружен, человек, сам прошедший через советские лагеря для военнопленных: «Трудно себе даже представить, как после шести лет таких лагерей можно было сдать вступительные экзамены по биологии, химии. Ведь и в обычной жизни все школьные предметы успеваешь забыть». Я мог потом убедиться, что и классическую филологию Файбусович не забыл.

## 2

Мы познакомились в марте 1981 года у Григория Соломоновича Померанца. Я незадолго перед тем закончил повесть «Два Ивана» – о временах Ивана Грозного, Померанц давал читать мою рукопись разным людям. Среди читателей оказался и Файбусович-Хазанов. Моя работа ему понравилась. Зашел обычный наш разговор о литературе, о русской истории. Не помню, в какой связи жена Померанца, Зинаида Александровна Миркина, спросила меня, еврей ли я или только половинка. Я ответил, что еврей стопроцентный. Реакция Файбусовича оказалась для меня неожиданной.

– Знаете, – сказал он, – я даже разочарован. Я считал, что такую вещь мог написать только русский.

– Я русский писатель, – ответил я.

– Да, – немного замялся он, – но у меня были свои представления о границах возможностей писателя-еврея в России.

Сам он в своих работах не раз возвращался к этой теме: двойственному самоощущению еврея – и русского интеллигента, писателя, глубоко укорененного в русской культуре и русской истории. Мы стали перезваниваться, изредка встречались, иногда прогуливались по бульварам, подолгу беседовали. Хазанов продолжал публиковаться на Западе. В его книге «Запах звезд» на меня особенно сильное впечатление произвели рассказы о чудовищной лагерной повседневности – она здесь осмысливалась как-то по-новому, к этой жизни оказывались неприменимы обыч-

ные человеческие мерки и представления. Я спросил, собирается ли он продолжать эту тему.

– Нет, – сказал он. – О лагерях, если уж теперь писать, то по-другому, чем все делали до сих пор. Тут недостаточно обычного реализма, надо бы показать, до чего это особый мир. Думать, что существует общество угнетенных, которым противостоят палачи – наивная романтика. Среди угнетенных есть свои палачи, а среди начальства, особенно в низких звеньях, такие же подневольные, те же мари мезят.

Я узнал, что сейчас он заканчивает роман о послевоенной студенческой молодости, где пытается еще раз осмыслить трагическую историю страны и свою собственную судьбу. Все эти размышления были связаны для него с еврейской темой.

– Сейчас я учу еврейский язык, – рассказал он мне во время одной из наших встреч. – Познакомился с замечательным человеком, он работал заместителем конструктора Туполева, но при этом ухитрился унаследовать традиции девяти поколений раввинов, был ректором ешибота. Сейчас ему 82 года, на иврите он говорит, как мы с вами по-русски. Однажды я забыл головной убор и стал извиняться, потому что преподаватель говорил нам, что Священное писание нельзя читать с непокрытой головой. Он махнул рукой: «Это совсем новый закон, ему нет тысячи лет. Раньше этого не требовалось».

«Я всегда ощущал себя евреем, – писал Борис Хазанов в эссе «Из “Писем без штемпеля”», – и хотел, чтобы и для других это не было тайной. И, значит, никогда не был «ассимилирован»... Для меня есть только один способ определить свое отношение к еврейству – это осознать свою личную судьбу как судьбу человека, принадлежащего к определенной общественной и национальной группе, той группе, которая укоренена в этой стране до степени самоотождествления с ней, но одновременно представляет в ней иное, древнейшее человечество».

Эта «укорененность до степени самоотождествления» позволяла ему с презрением отвергать упреки в «непатриотизме», все чаще исходившие уже тогда от людей известного толка. «Я жил в городе и деревне, – писал он в том же эссе, – в медвежьих углах и столицах. Мне глубоко безразлично, что скажут о людях, подобных мне, патриоты с бородами из пакли, в лаптях, украденных из этнографического музея. Я ходил в таких отрепьях, которые им и не снились. И пусть черт унесет мою душу, если я не вправе повторить слова, сказанные другим человеком и на другой земле: где я – там русский язык, там русская культура...»

Активное участие Хазанова в выпуске журнала «Евреи в СССР», получавшего все более громкую известность, его публикации в эмигрантских изданиях не могли не привлечь к себе внимания КГБ. Однажды я узнал, что у него провели обыск, изъяв рукопись только что завершеного романа о послевоенных годах, о своей юности.

– Перескажите своими словами, – пошутил я – не подозревая, как напряженно сам Хазанов уже осмысливал тогда эту поистине еврейскую, древнюю тему –

тему памяти, запечатленной в письменных текстах, трагедию возможной утраты этих текстов, проблему их сохранения, восстановления.

В эссе «Буквы» он пересказывает хасидскую легенду о «господине благого имени», Баал Шем Тове, «который решил воспользоваться своей властью, чтобы ускорить пришествие Мессии. Но наверху сочли, что время для этого не пришло, чаша страданий все еще не переполнилась. За свое нетерпение Баал Шем был наказан.

Он очутился на необитаемом острове, вдвоем с учеником. Когда ученик стал просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби поражен амнезией: он забыл все формулы и слова. «Я тебя учил, – сказал он, – ты должен помнить». Но ученик тоже забыл всё, кроме одной-единственной буквы алфавита – алеф. «А я, – сказал учитель, – помню вторую: бет. Давай вспоминать дальше». И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась друг за друга, по тропе воспоминаний и припомнили одну за другой все двадцать две буквы. Сами собой из букв сложились слова, из слов сложилась волшебная фраза, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не пришел, но зато они могли мечтать и спорить о нем».

Эта легенда возникает еще раз в финале романа, который Хазанов закончил восстанавливать уже в эмиграции, дав ему название «Антивремя». Ее рассказывает герою, юному студенту, неожиданно разыскавший его человек – он оказывается неизвестным ему прежде родным отцом. Это уже пожилой еврей, бывший коммунист, активный участник революции и гражданской войны, прошедший через лагерь и давно уже в прежних идеях разочаровавшийся. Теперь он получил возможность – по тем временам едва ли не фантастическую – покинуть страну и переселиться в Палестину, где еще лишь предстоит создание еврейского государства. «Срок мандата истекает, Палестина получает самостоятельность». Чтобы окончательно убедить все еще отчужденного сына, он и рассказывает ему легенду о Баал Шеме.

«Эта притча о чудотворце, – объясняет он, – на самом деле притча о еврейском народе. Всякий раз, когда нам кажется, что мы уже у цели, что избавление вот-вот придет, всякий раз нас постигает жестокое разочарование. Всякий раз, когда мы пытаемся сбросить проклятие истории и выпрыгнуть из истории в рай, – нас ждет кара... Эта кара – забвение самих себя. Утрата памяти, единственного, что у нас есть, что сохранило нас как народ... И разве не то же произошло с нами сейчас? Бросившись в революцию.., мы упали на камни, мы очутились на бесплодном острове. Мы забыли, кто мы и откуда мы. Мессия не пришел и никогда не придет, а мы? Что нам делать? Нам нужно восстанавливать память. Нужно начинать с азов. Буква за буквой, слово за словом восстанавливать свою память, иначе говоря, восстанавливать самих себя... Лёня, – проговорил он, и в глазах его стояли слезы. – Лёня, мы должны с этого острова бежать... Для этого я тебя разыскал».

Юноша отвечает отказом. Он возвращается домой, где его уже поджидают, чтобы арестовать.

Когда эта сцена писалась заново уже в эмиграции, для самого автора она звучала, думается, по-другому, чем в Москве. Начиная свой роман, он тоже еще не хотел эмигрировать, долго сопротивлялся мысли об этом, как искушению. «Вот уже по крайней мере три года я вижу себя в невероятной ситуации. Становится осуществимой мечта, столько лет сосавшая меня: уехать. Уехать вон, бежать, не оглядываясь... Когда-то, сидя в лагере, я представлял себе, что было бы, если бы на десять минут открыли ворота лагпункта и сказали бы: кому надоело – сматывайтесь». («Новая Россия») И объясняет – самому себе и другим – почему этого не делает, признается в своего рода «извращенной любви» к стране, которой «привык стыдиться», фантазирует об утопии какой-то «новой России», которую могли бы создать где угодно родственные по духу люди. «В море обломков единственное, за что я могу уцепиться, это русский язык».

В августе 1982 года решение стало вынужденным.

### 3

Известно, что уехать в то время можно было едва ли не единственным способом – по приглашению неких израильских родственников, нередко фиктивных. Но Хазанова в Израиле действительно ждали, предполагалось, что он продолжит там деятельность в еврейском журнале. Мне приходилось потом слышать, что некоторых друзей обидело его решение остаться в Германии. То, что для других называлось репатриацией, для него стало эмиграцией.

«Настал день, когда я вылез из самолета, увидел немецкие надписи над входом в аэровокзал – и это было все равно как если бы они были начертаны на древней умершей латыни», – написал он в очерке «Жабры и легкие языка». Изучавший в университете классическую филологию, с детства знавший и любивший немецкий язык, восхищавшийся Гете и Шопенгауэром, он ощущал себя все-таки человеком европейской культуры – это оказалось решающим.

В одном из позднейших писем Файбусович рассказывал мне, как с семьей приехал поездом из Вены в Зальцбург, там его встретили друзья, Владимир Войнович с женой, и довели в своей машине до баварской границы. «Подъехали, это было возле деревни Freilassing, я вылез из машины, подошел к человеку в зеленой форме и, что называется, сдался пограничной полиции. Нас отвезли в ближайший полицейский участок, где я диктовал вахмистру, сидевшему за старой пишущей машинкой, кто я такой и откуда, и зачём приперся с семейством. Единственный документ, который я имел при себе, был жалкий клочок бумаги, называемый выездной визой, – филькина грамота. Но то были другие времена – полиция вела себя, как филантропическое учреждение. Да ещё на моё счастье я говорил по-немецки».

Разумеется, и в язык, и в непростую эмигрантскую повседневность Файбусовичу еще по-настоящему лишь предстояло войти. В эссе «Немецкий эпилог» он вспоминает рассказ знакомого московского раввина о своем брате, «замечательном

знатоке священного языка, Библии и Талмуда. Тринадцать поколений его предков были учеными. Восемьдесят с лишним лет он приехал в Иерусалим, вышел на улицу и задал вопрос первому попавшемуся мальчишке. Мальчуган посмотрел на его бороду и покачал головой. «В чем дело?» – спросил старик. «Дедушка, – сказал мальчик, – ты очень плохо говоришь на иврите!»

#### 4

Я уже однажды писал, что в ту пору отъезд человека в эмиграцию представлялся чем-то окончательным, непоправимым, слово Запад обретало тот же смысл, что для библейского Иосифа: это был Египет, то есть царство мертвых, куда уходили безвозвратно. Надежды увидеться снова почти не было. Даже писать за границу надо было с опаской – письма просматривались, зачастую просто не доходили, тем более к человеку, отмеченному особым вниманием органов. Время спустя я все-таки стал отправлять Файбусовичу в Мюнхен письма на имя его жены, доходили и его письма. Все равно требовалось, конечно, умалчивать о многом, чего-то не называть своими словами, довольствоваться непрямыми намеками – это было тогда особое искусство.

Стало известно, что Борис Хазанов вскоре стал в Мюнхене одним из редакторов только что образованного журнала «Страна и мир». Номера доходили изредка через знакомых, я с радостью находил там блистательные эссе своего друга. А спустя несколько лет мне и самому довелось оказаться автором этого журнала, он все более становился не только эмигрантским. Времена понемногу менялись, возможность увидеться снова перестала казаться недостижимой.

В мае 1988 года я был впервые приглашен за границу, на литературную конференцию в небольшой западногерманский городок Бад-Мюнстерайфель. На второй день конференции, оглянувшись во время прений, я увидел входившего в зал Файбусовича. Он тоже увидел меня, помахал рукой и сел на заднюю скамейку. Уже совсем седой, волосы как-то смешно всклокочены. Мы обнялись, расцеловались, потом до полуночи просидели с ним за бутылкой вина – и бесконечными, как в Москве, разговорами обо всем на свете, главным образом о том, что происходило у нас в стране. Новостей накопилось много. А через несколько дней я смог приехать к нему в Мюнхен. Кроме меня, в гостях у Файбусовича оказался Бенедикт Сарнов, мы продолжали разговор уже втроем, прогуливаясь по мюнхенским улицам. На берегу реки Изар нас обогнала группа молодежи, и громкая немецкая речь, неожиданно вторгшись в наш разговор, показалась вдруг чужеродной. «Даже странно, – сказал Сарнов, – откуда здесь появились немцы».

На другой год Файбусович выхлопотал мне стипендию одного частного литературного фонда в городке Линдау на Боденском озере. Две недели мы провели вместе с ним и его женой Лорой, утром работали, после обеда гуляли по окрестностям. В разговорах Гена (так я к тому времени стал его звать) то и дело возвращался к теме эмиграции.

– У меня все время такое чувство, – сказал он однажды, – что я вырвался из отравленной страны. Я хожу по улице, вижу полицейского – и мне на него плевать. Я знаю, что ему до меня нет никакого дела. Тогда как в Москве я должен был бояться каждого.

«О чём я до сих пор жалею, – написал он позднее в письме, – так это о моих московских книгах. О пропавших книгах вспоминаешь, как об умерших друзьях. Почти всё осталось там, разошлось по рукам или попросту погибло. Считалось, что «старые книги» (изданные больше пяти лет назад) брать с собой не разрешается. Нельзя было иметь при себе какие бы то ни было документы, кроме выездной визы – клочка бумаги, имевшего вид филькиной грамоты. В аэропорту Шереметьево-2 раздевали догола. Мой сын, ему не было восемнадцати лет, растерялся и поднял руки. Человек, производивший обыск, усмехнулся и сказал: ты что думаешь, здесь гестапо? Из чего, видимо, следует, что сам он именно так и думал. Женщин подвергали гинекологическому осмотру. Нравы и обычаи этой страны были неотличимы от преступлений. Закон представлял собой свод инструкций, по которым надлежит творить беззаконие. Права сведены к формуле: положено – не положено».

Я видел, как время от времени он поглядывал на меня с сомнением: что меня удерживает в стране, тогда еще СССР, над которой все явственней нависала угроза катастрофы – если я имею теперь возможность перебраться в другой, нормальный мир? Раз-другой действительно прорывался вопрос: «А ты не жалеешь, что не уехал?» Я отвечал, что разговоры в такой плоскости не для нас: прав ли он, что уехал, прав ли я, что остался. Все очень конкретно, очень индивидуально.

На одну из таких тем у нас возник неожиданно горячий спор, и Лора сказала мужу:

– Что ты хочешь, человек приехал из Союза, ему трудно отказаться от стула, на котором он сидит.

Меня это немного задело. На каком это стуле я сижу? Может, правильной говорить о топоре, который висит над головой; от него я очень даже готов отказаться. Лора стала в ответ рассказывать, как к ним пришли с обыском восемь человек вместо обычных шести, в дом, где никакой политики не могло быть.

– Я все последние годы работала на полторы ставки, приходила из больницы и думала только о том, чтобы пожрать и заснуть. Я им сказала: вы что, работу себе ищите? Если там столько народа, они должны иметь какую-то работу, оправдывать свое существование.

– Если бы я не уехал, я бы погиб, – сказал Гена. – Я видел документы, в которых значился вторым номером на арест. Второго лагеря я бы не выдержал... И даже если допустить, что я вернулся, что смог бы получить здесь квартиру, средства к существованию – я бы не смог здесь писать. Мне нужна дистанция. Как Гоголю нужно было жить в Италии, чтобы написать «Мертвые души». Как Тургеневу надо было уехать из России, а Джойсу из Ирландии.

«Литература питается не настоящим, а пережитым», – утверждал он в эссе «Ветер изгнания». Раз-другой мы с ним вели на эту тему дискуссии на радио «Свобода» и на «Немецкой волне». Я был против таких обобщений. Пушкин никуда не уезжал, Гоголь написал «Ревизора» в России. Возможно, и я при нужде смог бы в Германии работать. Не так просто было сформулировать чувство, чего мне там все же не хватает.

Странное сцепление мыслей вернуло меня к этим разговорам однажды в Москве, когда я увидел на улице испуганную сучку: прижав зад к земле, она отлаивалась от трех кобельков, которые подступали обнюхать ее с разных сторон. И вдруг понял, как надо уточнить эпизод рассказа, над которым тогда работал. «Литература питается не настоящим», – вспомнилось мне. Для кого как. Для такого писателя, как я, важно ощущать некий трепет воздуха, шум повседневной жизни – это стимулирует мысль; возникают царапины, ниточки, на которых кристаллизуются внезапные идеи, образы.

Была еще другая сторона проблемы, которую Хазанов ощущал болезненней, чем я: основной читатель и у меня, и у него оставался в России. В своих письмах он не раз повторял, что не представляет себе, для кого пишет, не понимает, в чем внешний смысл его работы – просто не может не писать.

## 5

Мы продолжали обсуждать эту тему среди многих других в нашей переписке, которая стала особенно интенсивной с появлением электронной почты. Как-то Файбусович прислал мне номера только что начавшего выходить в Германии журнала «Зарубежные записки». Публиковавшиеся здесь авторы жили в разных странах, в том числе и в России. Читая их, я чувствовал, как изменилась ситуация со времени наших дискуссий с Хазановым на «Немецкой волне» и «Свободе». Эмигранты уже не были политическими беженцами, они могли свободно приезжать в Россию, как приезжал теперь сам Файбусович, и при желании уезжать – или оставаться, как делали некоторые. «Я бы не стал говорить, как ты, что продолжают все-таки существовать две русские литературы, в метрополии и за рубежом, не вижу между текстами существенной разницы», – написал я ему.

Файбусович ответил мне в тот же день. «Вопрос (если он вообще существует) о двух потоках русской литературы или даже двух литературах всё же заслуживает обсуждения; мне кажется, в этом тезисе что-то есть. И связано это, в частности, с неоднородным жизненным опытом пишущих. Общее российское прошлое разошлось по двум руслам. Качество и букет вина зависит от сорта лозы, но в ещё большей степени от местного климата, солнечного режима и почвы. В литературе «почва» – это жизненный и культурный опыт писателя. На русское детство и юность накладывается – как бы ни сопротивлялись ему – совершенно новый и не-



слыханный опыт. Это опыт эмиграции. Я говорю именно об эмиграции, которая и сейчас представляет собой нечто отличное от поездок, от пребывания за границей в качестве участника фестивалей и симпозиумов, лектора в зарубежных университетах, от туризма и гостения у живущих на Западе родственников и т. п. Психология экспатрианта – дело совершенно особое и даст себя знать у одних раньше, у других позже. Разница между реальной жизнью в Западной Европе и в России – когда оказываешься «в чреве китовом», внутри этой жизни, – всё ж таки достаточно велика, и это, конечно, отдалённость взаимная.

Само собой, в таких рассуждениях невозможно не оглядываться на самого себя, даже принимать себя – невольно – за правило, и всё же мне кажется, что тут есть и что-то общее, присущее многим. Мы с тобой слишком хорошо знаем, что главный поставщик сырья для литературного творчества – память. Всё остальное – фантазии, книги, свежие впечатления, актуальные события – лишь вспомогательный материал, не так ли? Но (как сказано в Талмуде), быть может, справедливо и обратное: писатель впитывает и перерабатывает впечатления несущейся жизни, память о прошлом играет подсобную роль.

Можно сказать иначе, разделив роли. Автор, живущий в своём отечестве, – по крайней мере, русский автор, традиционно не затворяющийся в своём кабинете, – питается реальной действительностью. Эмигрант черпает материал из закромов памяти. Оба утверждения (вполне тривиальных) не так уж противоречат друг другу, у них есть общий знаменатель – жизненный опыт писателя, опыт, в котором все времена сплавлены.

Можно прожить за границей пять, десять или двадцать лет, приехать погостить на родину и убедиться, что при всех огромных переменах мало что по существу изменилось: старые друзья остались друзьями, переулки детства всё те же, хоть и с другими вывесками; те же липы, те же дворы, те же лица, и все кругом говорят по-русски, смеются по-русски, толкаются по-русски. Тот же мат, древний, как сама Россия. Всё твердит о прошлом, воскрешает детство, юность; выхватываешь из увиденного то, что носишь в себе; и кажется, что бродишь среди видений прошлого.

Но, как ландшафт меняется, стоит только солнцу скрыться за тучей, отечество меняет свой облик, как только гость погружается в эту жизнь, ходит и ездит, и встречается с разными людьми. Он начинает понимать, что он не свой, но именно гость, и относятся к нему как к гостю; произошла смена местоимений; когда ему говорят: мы, у нас, то все понимают, что он исключён из этого «мы», он принадлежит «им», а не «нам». Оказалось, что за эти годы, сам того не сознавая, он превратился из иностранного русского в русского иностранца. Как у Ахматовой:

...Бежим туда, но (как во сне бывает)  
Там всё другое: люди, вещи, стены,  
И нас никто не знает – мы чужие.  
Мы не туда попали...

В чём дело? А дело в том, что его житейский и жизненный опыт более не совпадает с жизненным опытом соотечественников. Хуже того: он противоречит их опыту. Ты сбежал, тебя не было с нами, когда у нас происходило то-то, совершались великие события, – вот что хотят ему сказать. Вас не было там, где я был, вы понятия не имеете о мире, где я живу, даже если вы и катались туристами по европам, – думает он. Мы умчались вперёд, а ты опоздал на поезд и остался стоять на платформе. Твои часы показывают прошлый век. Нет, – хочет он возразить, – это мой экспресс уже давно в пути, это вы топчетесь на платформе. Обе стороны правы».

«Мое суждение о количестве русских литератур, – отвечал я ему на другой день, – основывалось на текстах из присланных тобой журналов. Можешь ты по ним различить, где какая? Другим может быть материал, тема, и то не всегда, да и что это значит? Хемингуэй только начинал в Америке, потом всю жизнь писал об Италии, Франции, Испании, Кубе, Африке, становился все больше европейцем, оставаясь американским писателем. Как-то в Дюссельдорфе я беседовал с немецким писателем (забыл имя, ты тоже был на этой конференции), который живет во Франции, немецких газет даже не читает, его от них тошнит, как от всего немецкого – но пишет по-немецки и издается в Германии. То, о чем ты пишешь, имеет отношение к тебе (и не только к тебе), к стране, но не к литературе. Внутри самой страны можно подразделить литературу по идеологическому (как любили говорить раньше, партийному, классовому), эстетическому принципу – от иных моих компартиотов я отличаюсь не меньше, чем ты. Принадлежим ли мы к разным литературам? Некоторые, может, вообще ни к какой».

## 6

Письма Хазанова-Файбусовича – эссеистика высокого европейского уровня. Свои электронные послания ко мне он с некоторых пор стал нумеровать, их количество уже исчисляется сотнями. «Я не вёл дневников, мои письма – аналог дневника», – написал он в присланном мне эссе «Родники одиночества». Для меня же продолжающийся разговор с ним – существенная часть моей жизни.

Особенно драгоценными в этих письмах для меня бывали фрагменты реальных воспоминаний, эпизоды лагерной, больничной, эмигрантской повседневности, рассказы о подлинных человеческих драмах. Откликаясь на какие-то мои слова о железнодорожных впечатлениях, Файбусович попутно рассказывал: «В последние месяцы моего потустороннего существования я был «комендантом станции», последней остановки лагерной железнодорожной ветки, в нескольких километрах от нашего, самого северного лагпункта. Станция называлась Поеж, с ударением на первом слоге. Титул коменданта носил бесконвойный рабочий, в чьи обязанности входило заготавливать дрова и топить печи в помещениях станции, чистить крыльцо, выдавать машинистам керосин, добывая его из железной бочки известным способом

– с помощью шланга, один конец которого погружается в бочку, а другой берут в рот, насасывают керосин, сплевывают (Мандельштам прав – керосин имеет сладковатый вкус) и опускали шланг в канистру; наконец, нужно было расчищать пути от снега и заправлять керосином, чистить и переводить стрелки. Собственно, там я и узнал, как функционирует железнодорожная стрелка».

В одном рассказе мне надо было написать о человеке, которому поставили ошибочный диагноз, потребовалась медицинская консультация. «Судя по тому, что ты пишешь, – отвечал Файбусович, – больной был доставлен с диабетической (кетоацидозной) комой. Кома – это состояние глубокого угнетения рефлексов, за исключением «первичных»: например, зрачки реагируют на свет. Но больной без сознания, без чувств, его можно колоть, тормозить – он ничего не чувствует, ни на что не отзывается. При сахарном диабете кома может быть инсулиновой (резкая передозировка инсулина) либо кетоацидозной (резкий дефицит инсулина), о последней в данном случае идёт речь».

И дальше еще два абзаца об экстренной помощи, о необходимых препаратах. Особое впечатление производили его рассказы о былых пациентах.

«У меня была одна больная, пожилая одинокая женщина, уже не встававшая с постели, с безнадежным диагнозом; дело было в 24-й больнице, лет сорок тому назад. Когда я подходил к ней, она вынимала из коробки на тумбочке диапозитивы: это была коллекция цветов. У неё уже не было ни цветов, ни квартиры. Она лежала и время от времени разглядывала эти стёклышки»...

Великое, несравненное знание! Мне бывало жаль, что в прозе этот бесценный жизненный опыт как бы видоизменялся, растворялся в вымышленном повествовании. Когда время от времени Файбусович сетовал, что зашла в очередной тупик его работа над прозой (обычное для пишущих людей ощущение), я не удерживался от желания напомнить ему, какой богатейший материал еще оставался им не использован.

«Знаешь, – писал я, – мне иногда вспоминаются эпизоды, разбросанные по твоим письмам. Петух с отморозенным гребнем, оркестр заключенных на лесоповале... Драгоценнейшая мозаика. Я, помнится, уже тебя убеждал по другому поводу: если бы ты написал об этом! Фрагментарно, без сюжетной связи, перемежая попутными размышлениями, литературными, историческими, а может, набросками, эпизодами из незавершенных замыслов. Я понимаю, как сомнительны и даже нелепы любые советы со стороны, ты однажды уже с усмешкой отмахивался от назойливого моего жужжания. Но, право, грешно оставлять не записанным такой несравненный опыт, жизненный, интеллектуальный. У меня все же чувство, что такая книга могла бы стать для тебя главной»

«Жанр, о котором ты пишешь, конечно, очень соблазнителен, – отвечал он. – В его вместительную раму ты вставишь ряд картин, откроешь диараму. Хотя возникает подозрение, что такая мозаика – в некотором роде симптом инвалидности. И, самое печальное, это относится ко мне. Я даже стал писать, дней десять

тому назад, что-то подобное, что-то на эту тему, отчасти под влиянием последнего тома дневников Т. Манна (1953–1955). И бросил. Начало было такое:

«Вот я сижу и думаю... Рука, столько десятилетий сжимавшая перо, исписавшая пуды бумаги, вот эта самая рука с лиловыми венами, измятой кожей, трудно поверить, вновь, когда уже всё сказано, всё изжито, колотит по клавишам, глаза вперяются в экран, – неужели я ещё жив, ещё в состоянии выдавливать драгоценные, густые капли воображения? Всю жизнь я старался писать не о себе, всю жизнь писал о себе; но лишь при условии, что моё «я» отторгалось от меня; ибо я рассматривал свою жизнь как сырьё, как нечто достойное внимания лишь в той мере, в какой оно может служить материалом для литературы. Тот, кто не может раздвоиться и пересоздать своего двойника в новое и независимое существо, тот не писатель. Затевая новую книгу, словно отправляясь в новое путешествие, я ехал инкогнито; теперь я могу откинуть капюшон, снять чёрные стёкла и отклеить искусственную бороду. Я больше не «художник». Я – это просто я и больше никто. Поразительное чувство раскрепощения на пороге смерти».

Приближаясь к восьмидесяти годам, Борис Хазанов продолжает напряженно и плодотворно работать. Это позволяет думать, что главная его книга, может быть, действительно еще впереди. Я могу лишь слегка перефразировать слова Гете, которые любил цитировать Томас Манн: нужно мужество, чтобы так долго продержаться. Особенно, добавлю, в наше время – и в такой прекрасной творческой форме.